

ЛЕНИНГРАД

Апрель 1931

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 4

Александр ПРОКОФЬЕВ

СМЕРТЬ ПОЭТА

Пристраиваясь к пятидневкам
И к десяти восстав от сна,
По улицам гулящей девкой
Шла подмосковная весна.

Катилась беспрозванным краем,
И где ни ступит — там теплей,
За ней тащился, словно фрайэр,
А может мученик — апрель.

Она же, спутав акварели,
Звенела песнею штрафной,
И волосы ее горели,
Слегка подхваченные хной.

Еще полмесяца до грома...
И ветер дух перешибал,
И в заведенных Моссельпрома
Торчали плечи вышибал!

Вот так, примерно, шла до грани
Самолюбива и ясна
Мирская девка,
Божья краля
Та подмосковная весна...

И для меня (в порядке частном
Об этом вновь поговорим.)
Она уже была злосчастной
По разным признакам своим.

И на панелях, стужу выстрадав,
Играли шкеты на туза.
А впереди — дыханье выстрела
И преждевременно — гроза.

Я ни капли в песне не заумен.
Уберите синий пистолет!
Командармы и красноармейцы —
Умер
Чуть ли не единственный поэт!

Я иду в друзьях.
И стих замѣтан.
Он почти готов — толкну скорей.
Чтобы стихари и рифмоплеты
Не кидали сбоку якорей!

Уведите к богу штучки эти!
Это вам не плач пономаря!
Что вы понимаете в поэте
Попросту — короче говоря?

Для чего подсвистыванье «Лютце»,
Деклараций кислое вино?
Так свистеть во имя Революции
Будет навсегда запрещено!

левской повести не поставлена голода, не крипачи, а казачья старшина. Она получит из рук дара вольности дворянские, и перейдет в стан врагов.

«Гайдамаки», «Гамалии», «Тарасова поч», в них бушует стихия крестьянского восстания. Фашисты-пилсудчики, помещичьи сынки, не случайно воскресили средневековый обычай.

Н. ПЕНЧКОВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЧЕХОВА В ЯЛТЕ

Среди воспоминаний о Чехове, несомненно, займут не последнее место и воспоминания М. К. Первухина.

Знакомство их автора с Чеховым целиком относится к последнему ялтинскому периоду жизни Чехова с осени 1899 года до отъезда в Баденвейлер 4 июня 1904 года. К тому периоду, когда недуг, давно подтачивавший организм Чехова, стал быстро прогрессировать и превратил его из жизнерадостного и глубоко общественного человека в невольного пленника своей ялтинской дачи — «тюрьмы», как он сам ее называл.

Редкие «вылазки» Чехова из Ялты в «миру» его сердцу Москву, как например на представлении «Вишневого сада» 17 января 1904 года, явившегося для Чехова триумфом, вызывались необходимостью или тем, что ему становилось «немного» в затхлом воздухе «татарско-парикмахерского» города (слова Чехова о Ялте)...

Физическое угасание Чехова — он постепенно отказался от постоянных прогулок на водопад Учан-Су и мог только «совершать подвиг» — дойти до набережной на свою «станцию» в крошечный книжный магазин Синани, чудака, боготворившего Чехова — отнюдь не сказалось на внутреннем мире Чехова.

Он попрежнему продолжал всем интересоваться и следил за текущими событиями, много читал, много писал и откликался на все явления жизни со свойственной ему глубиной мысли и остроумием.

Таким он остался до конца своих дней и таким знал его Первухин в самый тяжелый конечный период его жизни.

В одном частном архиве сохранился черновик воспоминаний Первухина, набросанный им в конце 1915 г. в Риме.

Они далеко не отделаны, случайны, но во всяком случае читатели найдут в них много ценного и актуального и для наших дней. С одной стороны воспоминания Первухина — прекрасное дополнение к тому, что уже известно о Чехове, а с другой — они дают нам и ряд новых, неизвестных фактов из последних лет его жизни.

Между прочим Первухин, еще до революции, поместил в различных журналах и газетах не-

Нужно стряхнуть пыль со страниц «Кобзаря». Его неумолимая ненависть еще обжигает. Нужно вывести Тараса из книгохранилищ, из академических саркофагов на вольный свет. Хотя бы в связи с близким 70-летием от дня его смерти.

сколько заметок и маленьких статей о Чехове, но все они особой ценности не представляют.

Обратимся теперь к самим воспоминаниям, в которых, не изменяя основного смысла, сделаны только редакционные поправки и сглажены некоторые шероховатости, свойственные всякому черновому наброску.

* * *

Книжная торговля Синани шла очень вяло: с одной стороны — «Ялте читать некогда», а с другой у самого Синани, то ли из-за недостатка средств на расширение дела, то ли по недостатку предприимчивости — выбор книг был довольно ограничен. Настоящий покупатель был в лавке большою редкостью. Но крошечный магазинчик стоял на перепутье, в самом центре набережной; сам Синани, одиозный из мотыган старой Ялты, отличался положительно всеведением и словоохотливостью. Поэтому в магазинчике его постоянно происходили импровизированные «заседания», в которых принимал участие и сам говорун и хлопотун хозяин, криливо обличавший неурядицы до ялтинского самоуправления, до земства, до администрации, а то и самого Петербурга, ненавидимого стариком Синани за пренебрежение интересами Ялты.

У дверей магазинчика Синани стояла удобная скамья, из-за которой чудака-караим вел нескончаемые препирательства с городской управою и местною полициею, требовавшими удаления ее. И вот если не в самом магазине Синани, то у дверей его, на этой самой скамье, получившей название «писательской», — по целым часам засиживался Антон Павлович, греясь на солнышке и созерцая море, сухо покашливая и рассеянно слушая разгоревшийся в магазине спор крикуна Синани с любившим подшучивать над ним неприменным членом ялтинской городской управы отставным певцом-баритоном Д. Усатовым, который, на склоне дней своих, стал ялтинским домовладельцем и городским деятелем, причем почему-то облюбовал в управе себе особую отрасль — заведывание очисткою городских улиц от мусора, в то время как другой член управы, бывший в былые годы ассенизатором,

а потом державший бани, некий Иванов, заведывавший городским театром и местным «казино».

— Переवेशать вас всех надо, — горчатся беспыльчивый Синани. — В Сибирь сослать. Вот, погодите, дожждетесь вы. Только и знаете, что наседение грабите.

Выскочит на улицу, стучат палкою с железным наконечником о цементный тротуар, отчаянно жестикулирует.

— Антон Павлович, — вопит и мирно греющемуся на ласковом солнышке и думающему какую-то печальную, хмурую думу Чехову. — Нет, вы слышали? Нет, что вы скажете на это безобразие?

Чехов бесконечно далек от предмета спора. Ялту он откровенно недолюбливает и словно сердится на нее за то, что ему приходится жить в ней. Горячность Синани явно смущает его. Но, мягко и чуть иронически улыбаясь, он отзывается солидным баском:

— Да, это, действительно, безобразие.

— Вот, погодите, — грозит Синани своему противнику. — Я уже просил Антона Павловича разделить вас под орех в каком-нибудь своем произведении. И Антон Павлович обещал, что соберется, разделает. Правда, ведь, Антон Павлович? Вы обещали?

И Чехов рассеянно отвечает баском:

— Обещал. Я их злодеев...

Но визиты Чехова «в город» и «в заседания» на лавочке у магазина Синани с течением времени становились все реже и реже. В городе Чехов перестал показываться, а если ему случалась надобность побывать там, то он обращался предварительно с просьбою по телефону или к живичку и весельчаку доктору Бородину, или к фотографу Дзюбо — прислать на дачу извозчика.

Знакомством с Чеховым дорожила, без преувеличения, вся Ялта, даже люди, которые едва ли прочитали хоть один чеховский рассказ. Он был знаменитостью, которою Ялта гордилась; он был своего рода ялтинскою достопримечательностью. Но сам он, по крайней мере, в тот период, явно тяготился всеми этими знакомствами и бывал у очень немногих ялтинцев. Чаще других бывал он в гостеприимном доме собрата по перу и деятельного общественного и политического деятеля Сергея Яковлевича Елпатьевского, потом — у вышеупомянутого доктора Бородина, который одно время был врачом Чехова, потом бывал в доме начальника местной женской гимназии Харкевич.

В конце 1899 г. Чехов был довольно частым посетителем тогда только что возникшей «художественной фотографии» С. В. Дзюбы «Юга», помещавшейся на набережной. Большинство фотографий последнего периода жизни Чехова относится именно к работе этой фотографии. Особенно много снимков было произведено зимой 1899—1900 года, когда в Ялту заглянул старый друг Чехова, так же как и Чехов безвременно погибший большой талант — художник Левитан.

Первое впечатление от знакомства с Чеховым было у Первухина таково:

— Чехов — угрюмый, совершенно не словоохотливый человек. Держится он нето отгораживаясь от простых смертных, нето попросту высокомерно. Ни о каком сближении с ним, ни

о каком разговоре «по душам» и речи быть не может.

Но, вот, как-то Чехов затаяил Левитана в фотографию, где Первухин проводил на правах школьного товарища владельца целые дни, — и не узнал Чехова. Он казался помолодевшим, живым, веселым, говорливым, простым и доступным.

Покуда фотограф возился, приготавливая свои аппараты, Чехов и Левитан в приемной вели себя, как школьники. Левитан попытывался у Чехова, указывая на одну ранее сделанную Дзюбою фотографию, на которой у Чехова было напряженное, угрюмое, и, пожалуй, надменное выражение, — с какою целью сделана эта фотография.

— Держу пари, — говорил он: — ты хочешь сделать большой запас таких фотографий, чтобы раздавать осаждающим тебя поклонникам.

— Вот и не угадал, — отвечал Чехов. — Это — специально для издателей.

— Зачем это?

— А как же. Пристает человек — «дайте рассказ». Обещать дать «хорошую полистную», благоразумно увидывая от точного обозначения размера ее. Ну, я ему и пошлю этот портрет. Как увидит меня таким... Навуходоносором... Испугается. Поневоле, хоть зубами скрипи, лишний сто рублей на лист накинест.

— Ах, ты, Навуходоносор! — хохотал заразно-весело Левитан. — Жаль, что я не портретист. Я бы тебя изобразил. Век бы ты помнил, и...

— И ругал бы тебя, — подхватил Чехов. — Ты, ведь, однажды своим искусством нанес мне личное оскорбление. Помнишь?

— И не однажды, но многожды...

Однако, когда фотограф изготовился и пригласил Чехова усесться перед аппаратом, — у Антона Павловича опять на лице появилось то же напряженное и чуть-чуть высокомерное, надменное выражение. Все попытки Левитана заставить его изменить это натянутое выражение на более простое, на «домашнее», — ни к чему не привели. Сделанный Дзюбою большой портрет положительно не удался. В следующий визит в фотографию Левитан уже и не называл Чехова иначе как «местным Навуходоносором».

И, подтрунивая, попытывался у фотографа:

— Много ли карточек Чехова распродаете публике?

— Не говорите! — смеясь, запрещал Чехов. — Если узнаете истину, он живопись бросит и сам здесь фотографию откроет, чтобы распродавать меня оптом и в розницу.

— А кто больше покупает? — продолжал попытываться Левитан.

Фотограф сказал, что за последнюю неделю куплены только две фотографии: одну взял какой-то засвещенный священник, а другую приобрели две местные гимназистки.

По этому поводу опять разгорелась перебранка: Чехов уверял, что он всегда пользовался большими симпатиями духовенства и учащейся молодежи, а Левитан в тон ему твердил, что, если, может быть, батюшка и купил фотографию «с благими намерениями», — в крайнем случае пошлет при доносе на недостаточную благонадежность Че-

хова, — то гимназистки уж явно собираются с портретом выкинуть какую-нибудь пакость.

— Ну, вот еще, — протестовал Чехов. — Какую же пакость?

— А такую. Знаю я их! — испугал его Левитан. — Вот, возьмут, да и выцарапают твоему портрету глаза.

— Ух, страшно!

— А потом, — продолжал фантазировать Левитан, — возьмут и приколотят фотографию вниз головы.

После смерти Левитана Чехов почти совершенно прекратил свои, прежде довольно частые, выезды из дому: смерть художника потрясла Чехова до глубины души. Как-то раз он заглянул в фотографию Дзюбы и увидел большой и очень удачный портрет Левитана, — и обратился к Первуюхину с просьбой:

— Попросите Дзюбу: ему это ни к чему. А мне портрет очень, очень дорог. Пусть отдаст его мне.

И, помолчав немного, добавил глухо:

— И пусть больше не вывешивает в приемной.

* * *

Весною 1900 года, — рассказывает дальше Первуюхин, — я сделался постоянным сотрудником ялтинской, тогда единственной на всем южном берегу Крыма, газеты «Крымский курьер». А. П. Чехов очень резко отзывался, как о самой газете, влачавшей, признаться, жалкое существование, так особенно о ее издательнице, державшей и газету и нас, сотрудников, в черном теле. Но, в то же время Чехов интересовался газетою и иногда заглядывал ко мне на дом, чтобы узнать последние новости до выхода номера. Мне очень льстили эти, правда, редкие визиты Чехова, но однажды я все же осведомился, — почему он не заглядывает в редакцию. Разумеется, все телеграммы и другие материалы — в его полном распоряжении. Чехов нахмурился. Долго молчал, — потом неожиданно для меня разразился целую филиппику.

— Не только на вашу газету, — говорил он сурово, — но и на большинство провинциальных и даже столичных газет — мне тяжело смотреть. Еще тяжелее — заглядывать в редакцию. Тяжело, тяжело!

— Да почему, Антон Павлович?

— А потому... Вот, на Сахалине я был. Там нечто в том же роде. Каторга какая-то.

Во-первых, в чьих руках огромное большинство газет сейчас? Вы скажете: в руках газетных работников? Неправда! Иллюзия! Газета — в руках издателей. А кто эти издатели? В одном месте — гоголевская помещица Коробочка, так боявшаяся продешевить мертвые души при продаже Чичикову; тупая, безграмотная, алчная, для которой текст газеты совершенно безразличен, важны объявления. Она готова всю газету сплошь занять объявлениями, а текст и совсем выбросить. Еще и лучше: из-за текста цензурные неприятности могут выйти, а из-за объявлений — никогда. И за объявления — ей деньги платят...

В другом месте в газете хозяйничает бывший

кабацкий сиделец, который всех своих сотрудников на «ты» называет и при случае чуть не затрепинами кормит. И пичкает газету пантанжными вещами. И из попавших по несчастью к нему в его острог мелких газетных работников, развращая их, вырабатывает целую шайку газетных бандитов.

В третьем... Ах, да что и говорить.

А личный состав сотрудников газетных! Вы только начинаете работать. Вы откуда не окунулись с головою в это дело. Вот, — не дай бог, — окунетесь, приглядитесь, — и вам самому страшно делается: какой чудовищный процент людей в газетном деле — это просто люди, которым буквально некуда. Газета последнее прибежище. Хоть с моста да в воду или — в редакцию.

Их, этих загнанных жизнью в газету людей, — винить нельзя, жертвы жизни.

Но делу-то от этого не легче.

Вот, разве, на то можно надеяться, что придет-таки пора, когда повременная печать получит хоть минимум свободы и станет под защитою законов. Ну, тогда, конечно, — если доживете, увидите: перемрут, как мухи осенью, почти все те издания, которые существуют теперь, и уйдет из газетной работы три четверти тех людей, которые теперь присосались к ней...

— А потом что будет, Антон Павлович?

Чехов раздразненно махнул рукою:

— А чорт... Рубль силу заберет. По-американски. А лучше ли, хуже ли... Кто его знает! Нет, впрочем, конечно, лучше. Газета станет капиталистическим производством. Выгодным будет только то предприятие, которое отвечает на спрос широкой публики. А спросом-то будут пользоваться издания, так или иначе отстаивающие интересы широких масс. Значит...

Должно быть близко то время, когда народятся особый тип газеты: для народа. Не нынешние простыни со многими тысячами строчек текста, не наши доморожденные «Таймсы», а крошечные газетки, где все будет съжато. Зато эти пойдут и в народ, потому что будут дешевле. Но все это — впереди. А сейчас каждый раз, когда вижу молодого писателя, втягивающегося в газетное дело, — не хорошо у меня, признаться, делается на душе. Омут!

С одной стороны, — не хозяева вы в своих газетах, господа. Батраки, и больше ничего. Вы укладываете свои силы, свои знания, свое здоровье... А в любой момент вам говорят:

— Милый друг! Не угодно ли вам уйти?

А сколько свежих молодых талантов губит газета. Ведь губит, губит! Для газеты нужна спешная ежедневная, газетная по духу, работа. Злободневность нужна. На все надо отзываться даже тогда, когда отзываться вовсе не тынешь. Где уж тут думать о работе серьезной, спокойной, обдуманной. Где вынашивать свои вещи. В пору только поспевать писать, писать и писать...

Ну, и привыкает мало-по-малу человек — не выписывать свои вещи, а фабриковать их. Не дает себе труда — развить облюбованную мысль, наметить характеры. Некогда. Надо поскорее написать и сбить. А в результате, что же получается?

Надо заметить, что при разговорах со мною

Антон Павлович очень часто останавливался на видимо близкой его сердцу теме — на бытѣ литературной братии. Однажды он, как будто прорыворился о причинах этого интереса:

— Как только сможете, ¹²⁰убегайте, сломайте голову, убегайте из Ялты.

Почему, Антон Павлович?

— Не место она для литературных работников. Здесь наш брат в безвоздушном пространстве оказывается. Здесь как-то контакт с жизнью, с настоящей жизнью обрывается. А писатель — он, ведь, питается соками окружающей среды. Ему нужны живые наблюдения. Ему нужно, чтобы не только в нем, но и вокруг него работала мысль, шло бы творчество. Здесь этого нет, и потому писателю сюда ездить следовало бы запретить, под страхом смертной казни.

Заметив, что я чуть-чуть улыбнулся, Чехов и сам зашутлился:

— Вот, вот. Вы мне сейчас шишечку подпустить хотите. — А почему, мол, вы сами, Антон Павлович, в сей Ялте обречаетесь да еще и домовладельцем оной сделались?

А я вам на это отвечу:

— С одной стороны — по болезни, а с другой — по слабости характера.

Через минуту он опять рассеянно улыбнулся и продолжал:

— В общем я, просто-напросто, селясь в Ялте, как говорится, «опередил события». Надо было бы подождать так... ну, лет сто, что ли. Тогда, знаете, добрые люди по воздуху будут летать со скоростью не ста, а... а тысячи верст в час. Целые, знаете, воздушные поезда будут. И, вот, знаете, тогда мы с вами могли бы, вставши утречком в Ялте, вместе отправиться пить чай в Москву, на завтрак в Питер, а к вечеру, к обеду — домой, в эту самую Ялту. А вечером к нам сюда, в Ялту, живые люди из Москвы и из Питера заглядывать будут. Вот при таких условиях — стоит и в Ялте жить. При иных — нет.

Еще помолчав немного, Чехов шутливым тоном заговорил:

— А то, знаете, здесь еще кому из писательской братии жить? — Историческим романистам Мордочеву, Салиасу. Не даром Салиас так заглядывает сюда. Видели его? Приехал третьего дня, а «Россия» остановился. С бонною француженкою...

Лукавая усмешка мелькает и скрывается.

— Присылал мне записку на изысканном листке почтовой бумаги с графскою короною, осведомляясь, может ли он иметь честь навестить меня. Ну, я ему ответил, что, конечно, буду рад принять его у себя, но что сегодня же съезжу к нему...

Опять лукавая усмешка.

...представители, так сказать, шестой там или седьмой великой державы, им, покойником Салиасом, интересуются.

«Покойником» не я его, он сам себя называть любит. И... и прав. И жалко признаться, а так. Ведь это и в физическом смысле — «живой труп» — он разбит параличом, еле ползает, переживавшись пополам, — а в литературном смысле — совсем, ну, совсем покойник. Страшная, знаете,

прония судьбы. Ведь, тоже — талант был, и большой и интересный талант. Вы вспомните, начал-то он как и с чего. Написал огромнейший и, право же, интереснейший роман «Пугачевый». По своему времени — литературное событие первого ранга было. Чуть-чуть не наравне с «Войною и миром». Толстого тратовалось. Мамаши наши как этим романом зачитывались! Да в нем и есть не мало достоинств и — прежде всего — отличная форма, отличный язык, великолепно разработанная фабула. А этот роман, не забываяте, был написан почти мальчиком: Человеком, который только краешком глаза взглянул на жизнь.

И, вот, судя по этому роману, которым молодой Салиас, как говорится, — размахнулся, — от него бог весть чего можно было бы ожидать. А что вышло? Что он дал после?

С ним, очевидно, случилась какая-то внутренняя катастрофа. Что-то, знаете, внутри — сложилось, расклябалось. Бывает это — в сложных аппаратах, в часах. Часы, знаете, с великолепною гравираванною золотою крышкою. Стекло, — и то цело. Циферблат — и тот не тронут. А тряпеш — внутри звон и шум. Столпотворение вавилонское. Затикает маятник, протикает десять или пятнадцать секунд и потом — стоп! машина. Стоят часы. Как мужики говорят:

— Нутро перегорело. Середка испорчена.

Из разговоров с Чеховым о литературной братии вспоминаю еще один большой разговор, вызванный особым поводом. Меня, как редактора, вообще одолевали разные «самородки», и в числе их — какой-то до ужаса безграмотный «сочинитель». Сначала я пытался разобраться в его иероглифах, потом убедился, что это дело совершенно безнадежное, и просто стал швырять в корзину все письма «самородка». «Самородок» оскорбился, и обратился к Антону Павловичу с длиннейшею и обстоятельнейшею жалобою на меня. И, вот, получив эту жалобу, Чехов вызвал меня к себе по телефону — «поговорить».

— Ну-с, подсудимый, — начал он, встретив меня на пороге своего рабочего кабинета. Что вы скажете в свое оправдание?

И при этом похлопал по краю массивного письменного стола целою кучкою исписанных перьями, хорошо мне уже знакомым, почерком «самородка» листком.

— Сие — обвинительный акт и прочие судебные материалы. Итак, приступим к разбору дела. Отвечайте, не уклоняясь, на вопросы: а почему вы, обвиняемый, на страницах «Крымского курьера» печатаете какие-то там метеорологические бюллетени и упорно отказываетесь напечатать хотя бы сию «повесть о том, как одна княгиня с проводником Асланом хвосты трепала».

Это был дословно заголовок одного из произведений одолевавшего меня «самородка».

— Одолевают, — допытывался, сверкая глазами, Чехов. — Так вам и надо! Страшно рад. Подделом. Не беритесь за редакторское дело. Не дерзьте добровольно в каторгу. Полезли? Кушайте на здоровье!

— Да вы-то, Антон Павлович, почему элорастаете? — засмеялся я. — Почему вам-то это доставляет удовольствие?

— А как же, — словно удивился Чехов. — Это, батенька, как где-нибудь в приемной популярного врача, где собирается множество больных с разнообразнейшими болезнями, и каждому доставляет удовольствие, если удастся обнаружить, что его сосед еще опаснее болен, чем он.

— У меня один только зуб ноет и то хоть вешайся, а у него вои, нето три зуба, нето целая челюсть.

Чехов показал мне лежавшую на письменном столе форменную грудку разнообразнейших рукописей.

— «Самородок-то ваш представляет некий интерес, — рекомендую обратить внимание: не пренебрегайте. И это материал, и материал, могущий оказаться чрезвычайно интересным. Наблюдайте. Входите в непосредственное соприкосновение. Расспрашивайте. Когда-нибудь, если извоят нас Аллах от газетной лямки, — размахнетесь и сами романом из жизни газетной братии. И тогда вот такие из жизни взятые фигуры, вот как понадобится могут в качестве сырого материала.

Я последовал совету Чехова, вывалил в редакцию «самородка», долго объяснялся с ним, потом должен был дать отчет о разговоре самому Чехову.

— ... Мальчик шестнадцати или семнадцати лет. Служит подручным в кузнечном заведении, стоящем на краю города. Учился в деревенской школе. Одержим страстью писать стихи, говорить стихом. Дошел до того, что кажется маньяком: подбавляет рифмы к каждому услышанному слову:

Мне кричат:

— Тащи воду!

А я отвечаю:

— Я принес бы воду

Для крещеного народу,

Да к воде иет ходу

За неимением броду.

Чехов почему-то заинтересовался этим несчастным свихнувшимся маньяком, и устроилось у меня в редакции свидание.

— Зачем вы пишете про графинь, маркиз, баронесс? — допытывался Чехов у мальчугана. — Да вы хоть одну-то книжину живую видели?

— Вот те на, — сердился мальчишка. — Да мимо нашей кузницы сама княгиня Бярятинская сколько разов просажала. Видел ее как облупленную.

— Вот вы из деревни. Да? Вы работаете в кузнице. В кузнице приходят десятки людей: рабочие, татары, греки. Почему вы не попробуете о них писать?

— Очень нужно, кому, — фыркает «самородок». — Рабочие — они рабочие и есть. А татары — баранья лопатка.

Так мальчишка и ушел разочарованным.

С другим «писателем из народа» Чехов на моих глазах провозился несколько недель, покуда не был вынужден признать, что и это случай совершенно безнадежный.

* * *

Чехов никогда не был скопидомом, скупцом, — в дни жизни в Ялте, располагая не бог весть какими средствами, — он очень солидный процент

своего литературного дохода тратил на помощь нуждающимся, осаждавшим его просьбами. Очень видную роль в этом играла помощь Чехова постоянно появлявшимся в Ялте, так сказать «гран-антотом», странствующим литераторам из нижней категории провинциальной газетной братии. Но и помогая этим людям, Чехов в интимном разговоре не скрывал своего отрицательного отношения к целому классу. Может быть приговор Чехова был слишком односторонен и поэтому чересчур суров, но приходилось, слушая его, сознаваться, что во многом Чехов и прав.

— Кто уходит в газетную работу? — говорил Чехов. — Увы — это горько, но это так: отбросы интеллигенции. Люди, которым больше деваться некуда... Всюду нужен аттестат хотя бы среднего образования, нужны известная деловитость, известные знания, хорошая репутация. В редакции ничего этого не требуется. Редакторы проявляют положительно преступную терпимость и потому повинны в том, что возле газеты, равнелас-туча полу-литературной мошкеры, ядовитого овода. Печатное слово — это страшное оружие. С этим оружием обращаются, как ребенок обращается с отравленным кинжалом. Издатели в массе — это базарные пшибаи, барышники, заботящиеся только о доходах. Кто подешевле работает на них, — тот им и мил, тот им и друг. Поэтому-то у нас и разводится такое нестерпимое количество газетной шущеры, prostituteрующей газетное дело, обращающей газету в дом терпимости.

— Не люблю немцев, — признавался Антон Павлович. — Но, насколько знаю, там, в Германии, по крайней мере образовательный уровень газетных работников высок. Там, если к газетной работе припускают человека без образования, — значит он истинный, хотя бы и на немецкий образец талант. Радовые же работники сплюш-вербуются из лиц с университетским образованием. Пусть талантности в них мало. Нам трудно судить. Но, по крайней мере, — это грамотные работники. В немецкой газете не рискуешь прочесть такой чепухи, от которой волос дыбом становится. Помилуйте! Что это такое! Я за последнее время стал выречки делать, собирая альбом газетных ляписусов. Вот, не хотите ли.

В Одессе, в крупнейшем культурном центре, в крупной газете видный сотрудник-фельетонист описывает свое путешествие из Одессы в Киев. Едет он, как и полагается «одессисту», — морем. Вплоть до самого Киева ухитрится все ехать морем. В его очень красноречивом фельетоне описаны золотые маковки киевских церквей, озаренные солнцем, поднависшим над морем.

Чорт знает, что такое!

Вот другой «одессист». Тот рассказывает, как его и его товарища арестовал... судебный пристав и как судебный пристав являлся в «кита-лажку», признавал городовых и заставлял истязать арестованных.

* * *

В 1902 или 1903 годах с Чеховым произошел удивительный случай, длинный раз подчеркивающий его доброту и отзывчивость. Он зашел в редак-

дию «Крымского курьера» и передал Первухину небольшой, но прекрасно написанный рассказ на боевую тему.

— Прислала мне барышни одна, местная гимназисточка, — пояснил он. — Просит посодействовать, чтобы его где-нибудь напечатали: — хотя бы в «Русской мысли». Рассказ очень, очень недурен, но для ежемесячника не подходит. Может быть у себя напечатать?

— Антон Павлович, — возопил Первухин. — Да, ведь, моя издательница за такие вещи не платит. А вашей гимназистке надо заплатить.

— Естественно, что заплатить надо. Тем больше, что автор-то намекает. Заплатили бы, дескать, «хотя» по пяти копеек за строчку. Заработать хочет, бедняга. Так, знаете, вот что мы сделаем: вы напечатаете, а я вам оставлю для нее... ну, рублей двадцать, что ли. Чур, — меня не выдавать! Скажете, что это — редакционные деньги. Да предупредите, что впредь платить не станете...

Я оставил у себя рукопись и, когда Чехов ушел, принялся переглядывать ее, чтобы удобнее разместить в следующих номерах. Однако, с первых же строк во мне начало зарождаться сомнение: рассказ обличал в авторе великодушное знание техники военного дела. Всюду мелькали термины, которых неисполненный знатъ не может. А автор — молоденькая девушка гимназистка. Откуда такие знания у нее? Что-то не чисто!

Чем дальше я вчитывался, тем больше сомневался. И наконец я вспомнил, не читая, финал рассказа. Я читал этот рассказ. Он был напечатан. Когда? Тогда, когда рекомендованной Чеховым гимназистки еще и на свете не было. Я стал перебирать в памяти всех русских писателей на военные темы, остановился на В. И. Немирович-Данченко, добыл его книги, и без труда в романе «Под грозою» нашел текст рассказа гимназистки.

Чехов был и взволнован и искренно огорчен всю эту историю и, помню, зайдя в редакцию, долго ворчал отрывисто:

— Ведь, вот, поди же ты. Чистое такое юное и душою и телом существо... Глазки такие милые и ясные... Улыбочка светлая... А сама — молчилица.

Чехов предал все дело мне. Я вызвал гимназистку к себе в редакцию, и, каюсь, пугнул ее уголовною ответственностью. Гимназистка перетрусилась до полусмерти, а я делал вид неумолимого судьи и выгнал ее из редакции. Зашевелился семейный муравейник, прибежала ко мне пара великовозрастных гимназистов — кузены «юной преступницы», какой-то студент. Все уверяли, что это была простая невинная шутка, что я напрасно раздуваю дело и т. д. Помучав этих «милых шутников», я наконец сжалился над ними, отдал злополучную рукопись, но на прощание еще раз жестоко пугнул всю кампанию и заставил гимназистку поклясться, что впредь она такими делами заниматься не будет. Не знаю, — сдержала ли она свое слово, но знаю, что, окончив гимназию, она немедленно вышла замуж за акцизного чиновника и стала играть роль в местном ялтинском «свете».

До этой истории Антон Павлович частенько так направлял ко мне в редакцию начинающих

авторов или их произведения с рекомендацию. После этого — перестал.

— Боюсь попасть впросак, — признавался он. — Ну их к богу, знаете. Правда, я добросовестно прочитываю все, что мне присылают, но, ведь, тоже цоручится, что ему не подсурут старой-престарой перелицованной заново вещи. Вон, говорят, кто-то даже «Пиковую даму» Пушкина ухитрился всучить издателью. А Стасюлевичу старик Мордовцев горячо рекомендовал роман какого-то начинающего исторического романиста. А роман-то оказался переписанным романом самого Мордовцева — «Царь и гетман».

... И все же, — мы оба с Чеховым, как говорится, в луку сели: до его личной рекомендации, я напечатал в «Крымском курьере» маленькую крымскую легенду, доставленную ему, Чехову, какою-то нуждавшеюся в зароботке драматическою артисткою. На другой день живший в Ялте литератор А. Я. Бесчирский, автор хороших путеводителей по Крыму и Кавказу, при встрече со мною язвительно заметил мне:

— Если вы, коллега, в другой раз пожелаете перепечатывать что-либо из путеводителей, то берите по крайней мере новые издания. А то ваша «Крымская легенда» целиком содрана со страниц старого путеводителя по Крыму Тихомировой... Неудобно, знаете.

Чтобы не огорчать сильно тогда прихварывавшего Чехова, я так и не сказал ему об этом казусе, но каким-то образом он сам проведал о случившемся и прислал мне записку с извинениями. Записка была в шутилом тоне:

«Я, нижеподписавшийся, Антон Павлович сын Чехова и пр. и пр., сим клятвенно обязуюсь впредь юным илагнаторам не покровительствовать, для «Крымского таймса» никаких портических и прозаических произведений неведомых мне авторов не рекомендовать».

* * *

Зимой 1902/1903 года в маленьком кружке ялтинской молодежи возникла мысль издавать в Ялте литературный ежемесячник. За окончательным разрешением вопроса обратились к Чехову, как к высшей инстанции.

Чехов внимательно выслушал достаточно сбивчивую речь инициаторов, только что соскочивших со школьной скамьи, — и все время был очень и очень серьезным, и даже как будто угрюмым. А потом неожиданно улыбнулся милою доброю улыбкою, встряхнулся и сказал:

— Говорят, один еврей, которого знакомые спросили о каком-то одолжении, ответил им:

— Я, господа, могу помочь вам — только вздохом сочувствия.

Ну, вот, видите ли, так и я могу помочь вам исключительно вздохом сочувствия.

Какой журнал? Ради бога, господа! Для кого журнал? Зачем журнал?

Вы думаете «начать с маленького». Вадор. «С маленького» вообще начинать в наш век — вадор. «Маленькое» так навеки маленьким и останется. И притом, если бы вы изобрели что-либо новое, небывалое, такое, что может всех ошарашить

именно новизною. Ну, тогда кривая и вывезет: «маленькое» вдруг разрастается в большое. Но, ведь, «издавать журнал», — это старо, старо. Ведь, журналов у нас — хоть реку гатить, хоть болото мостить.

Кто-то робко заикнулся, что, напротив, серьезных литературных журналов у нас — мало: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Русская мысль», «Мир божий».

— Не в том дело, — возразил Чехов, — сколько их, а в том, как они идут. Если взять эти журналы, то едва ли их общий тираж превысит пятьдесят тысяч. В России — это пятьдесят миллионов человек. Значит, одна книжка журнала фактически приходится на три тысячи человек. В России есть целые города, куда не выписывается ни единый ежемесячник, хотя там вместе с интеллигенцией, хотя туда игральные карты выписываются чуть ли не вагонами. В России, правда, — в Сибири, но, все же, — там есть целые колоссальные губернии и области, куда, например, «Вестник Европы» исполком веков выписывается в едином экземпляре. На всю область, величину с пол-Европы!

Поймите же, господа! Потребительницею журнала служит только наша интеллигенция. Народу журнал не нужен. А интеллигенция образует не только тонкий, но тончайший, местами даже невидимый слой на народной массе. Она сама не образует потребительской массы.

Да сама интеллигенция, — разве она читает? Вот вам, например: года четыре назад заехал я... Чехов называл имя какого-то живущего бойкою жизнью приволжского города.

— Заехал я в этот город. Электрическое или газовое освещение, магазины, бульвары, гимназистки и гимназисты рожи вытос по берегу. А зашел в общественную библиотеку, да взял просмотреть завалявшийся номер толстого ежемесячника, — книжка и на половину не разрезана. Ее некому читать, господа.

Нет, затевайте, что хотите, но не затевайте одного — издания журнала. Из этого ничего не вышло и не выйдет, особенно вне Петербурга. Даже Москва, — и та не место для издания ежемесячника. Один Петербург!

А в Петербурге, там, знаете ли, как надо к изданию приступить? Ассигновать триста тысяч. И то — первые расходы. На три года, что ли? Да держать в запасе еще двести тысяч.

И, знаете, что будет, если вы размахнетесь полумиллионем. Вы оттянете у каждого существующего журнала по тысяче или полторы подписчиков, да, может быть, «создадите» новых пять тысяч. Вот и все, чего вы добьетесь.

Сконфуженные инициаторы журнала, при словах Чехова о полумиллионе чуть не упавшие в обморок, — убрались. Но затронутая ими тема, повидимому, заинтересовала Чехова, и, покашливая, он долго еще говорил на эту же тему:

— Да, толстый журнал... Ах, как мило. Ах, как хорошо. Да, знаете, но это продукт старой России. Той России, когда, знаете ли, еще дворянские усадьбы процветали и когда культурный владелец из оных, вспоминая о тоскливых зимних вечерах, осенью, продав урожай или заложив липовую рошу

в Дворянском банке, — выписывал сразу три или четыре журнала. А ежели он был из бюрократов, то непременно — «Русский архив».

Ах, мило! Ах, хорошо!

Зимой, знаете, гудит вьюга. Все сметом занесено. А какой-нибудь Никифор или Пантелей со станции прет в мешке ворох «Нового времени», да две, а то и три кирпичины — свежие книжки толстых журналов. И в семье идет даже ссора из-за того, кому первому проглядывать журналы. А тощая губернантка тоскливо поглядывает на толстенную кирпичину — «Вестник Европы». Там — переводной роман эдакого, знаете ли, Гэмфри Уорда, что ли. Герцог, член палаты пэров, графиня, несменная красавица, ну, и еще артист-итальянец — непременно английский пастор...

Но, ведь усадьба-то стерта со лица земли. Ведь, этот потребитель журналов умер. Ведь, кто в усадьбе и читал, тот бежал в город, а в городе — библиотека, клуб, общественное собрание. И книжку можно достать «почитать». Ее выписывать не стоит...

Чехов затворил о самих русских журналах.

По бедности — добрую половину переводов записывают. Это убивает интерес к журналу: ведь, переводить труднее, чем оригинальное писать. Ведь, выбирать на иностранном, что ли, рыцке подходящий для перевода материал — это отчаянно трудная штука. А за перевод грош платят. И переводят чисто случайные вещи. И перевод сам в огромном большинстве — жеваная бумага. Вот, в старые годы, в период, повторю, усадьбы, — тогда перевод не был еще ремесленным. Марко-Вовчок, например, переводила. Прелесть. Лавровские переводы Сенкевича — чуть ли не лучше подлинника. А теперь переводы поставляют голодные курсистки, закабаленные каким-нибудь шустрым подрядчиком, имеющим связи с редакторами да издателями.

Нет, повидимому, наш «толстый» журнал отжил. Нужно что-то другое. Альманахи — это хорошо. Но это — временное. Это, ведь, чисто случайное. Вероятно, — просто-напросто, — нужен тот же самый журнал, только совершенно реформированный. Может быть двухнедельными, а то и недельными книжками. Переводы по тридцать печатных листов ^в и чорту! Вместо них — в каждом номере интересная заграничная корреспонденция. Париж, Лондон, Берлин, Рим, Константинополь. Общее число печатных листов должно быть увеличено. Редакции под страхом смертной казни будет запрещено запасаться материалом на полтора года, как бывает и по сей день: материал должен идти только свежий. Если произойдет какое-нибудь чрезвычайное событие, — пусть две или три книжки целиком будут посвящены ему. Словом, — журнал должен, оставаясь журналом, — приблизиться елико возможно к типу газеты, быть свежим. На все надо отзываться — по горячему следу. В литературе — следить за каждым новым течением. Отрешаться от олимпийства, от академизма. И тогда...

Словно споткнувшись, Чехов закончил:

— И тогда, вероятно, все же ничего из этого всего не выйдет, и ваш журнал съест вас...